



1891–1940

«В рассказах Булгакова было много жгучего юмора, и даже в его глазах — чуть прищуренных и светлых — сверкал... гоголевский насмешливый огонек. Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями... В этом была удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора... В то же время, слушая Булгакова, становилось ясным, что его блестящая выдумка, его свободная интерпретация действительности — это одно из проявлений все той же жизненной реальности. Переплетение реальности и фантастики — это относится как к прозе, так и к пьесам Булгакова».

К. Г. Паустовский

классика в кармане

М. А. БУЛГАКОВ

классика
в кармане

Собачье сердце

М. А. БУЛГАКОВ

Собачье сердце

«Склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою... остро задевают общественно-коммунистические круги. Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик)».

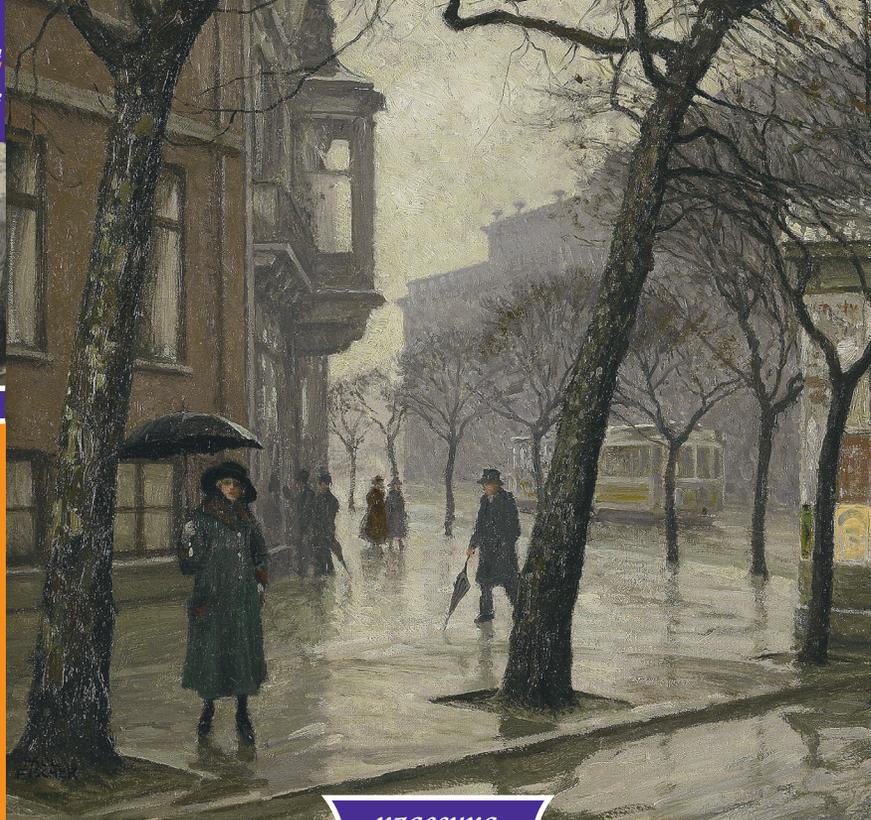
М. А. Булгаков

www.bmm.ru

www.trade.bookclub.ua



классика
В
кармане



классика
в кармане

М. А. БУЛГАКОВ

Собачье сердце



*классика
в кармане*

М. А. БУЛГАКОВ

Собачье сердце

Рассказы



Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос)
Б90

Проект Д. Е. Веселова

Печатается по изданиям:

Булгаков М. А. Собрание сочинений :
В 5 т. — М. : Художественная литература, 1989–1990. Т. 2 ;
Булгаков М. А. Собрание сочинений :
В 5 т. — М. : Рипол Классик, Престиж Книга, Литература, 2005. Т. 5.
Вступительная статья и комментарии *И. Н. Сухих*

В оформлении обложки использован фрагмент картины
Поля Густава Фишера «Дождливый день»

Иллюстрации — репродукции с картин: А. К. Саврасова «Вид на
Московский Кремль. Весна» (с. 17); Ф. Алексеева: «Вид Москвы
от Троицких ворот Кремля» (с. 22), «Вид храма Василия Блаженного
от Москворецкой улицы» (с. 46), «Колокольня Ивана Великого» (с. 90)

Литературно-художественное издание

Серия «Классика в кармане»

БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич

Собачье сердце. Рассказы

Дизайнеры обложки *Т. Н. Коровина, Е. М. Залипаева*
Дизайнер-верстальщик *Е. М. Залипаева*

Подписано в печать 20.03.2013. Формат 76x100/32.

Усл. печ. л. 8, 44. Тираж 5000 экз. Заказ №

ЗАО «БММ», г. Москва, Проспект Мира, д. 68, стр. 1А. Тел. (495) 984-35-23;
e-mail: office@bmm.ru

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140,
пр. Гагарина, 20а; e-mail: cor@bookclub.ua. Св. № ДК65 от 26.05.2000

Отпечатано с готовых диапозитивов на ЧП «ЮНИСОФТ»
Свидетельство ДК № 3461 от 14.04.2009 г.
www.ttornado.com.ua

Украина, г. Харьков, ул. Морозова, 13Б



ISBN 978-5-88353-475-0 (серия)
ISBN 978-5-88353-533-7 (БММ)
ISBN 978-966-14-5243-4 (КСД)

© М. А. Булгаков. Наследники, 2013
© И. Н. Сухих, составление, вступительная
статья, комментарии, 2013
© Nemiro Ltd, 2013
© ЗАО «Фирма Бертельсманн Медиа
Москва АО», 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного
Досуга», 2013

Преображенский и Шариков в Москве краснокаменной

Советская Москва начала 1920-х годов, новая старая столица, была городом великих возможностей и огромных проблем. Появившийся в ней осенью 1921 года и окончательно выбравший литературу, Булгаков начинает борьбу за жизнь. Первые его московские письма родным и близким напоминают репортажи с фронта, где уже не стреляют, но еще умирают.

«Очень жалею, что в маленьком письме не могу вам передать, что из себя представляет Москва. Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Въехал 1 ¹/₂ месяца тому назад в Москву в чем был, я, как мне кажется, добился максимум того, чего можно добиться за такой срок. <...> Пишу это все еще с той целью, чтобы показать, в каких условиях мне приходится осуществлять свою *idée-fixe*. А заключается она в том, чтобы в три года восстановить норму — квартиру, одежду, пищу и книги» (В. М. Воскресенской, 17 ноября 1921 г.).

«Самый ужасный вопрос в Москве — квартирный» (В. А. Булгаковой, 24 марта 1922 г.).

Квартирный и прочие вопросы Булгаков решал, не теряя из виду того, ради чего он приехал в Москву. Он служит в Наркомпросе, поступает литературным обработчиком в газету «Гудок», сочиняет рассказы и фельетоны для других московских газет, начинает сотрудничать с московско-берлинской «Накануне».

Позднее, в незаконченной вещи «Тайному другу», Булгаков скажет, что первые годы своего московского житья жил «тройной жизнью».

В «Гудке» приходилось сочинять заказные фельетоны по письмам рабкоров и указаниям редакторов. Зощенко или работавший вместе с Булгаковым Юрий Олеша (под псевдонимом Зубило) наполняли этот неуважаемый жанр личным содержанием, превращали редакционную почту в инструмент исследования современной жизни, а газетные шаблоны — в школу стиля. Булгаков воспринимал эту работу как постылую поденщину, о которой говорил с мучительным чувством, а чуть позднее, на расстоянии, — с победительной иронией вынырнувшего из литературной тины человека.

«Сегодня в «Гудке» первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией» (Дневник, 5 января 1925 г.).

Другая жизнь шла в газете «Накануне», где автор получал большую свободу в выборе темы и стиля. «Эта вторая жизнь мне нравилась больше первой. Там я мог несколько развернуть свои мысли».

Главная, тайная, жизнь — работа над «Белой гвардией», заветной книгой, родившейся из снов о прежней России. «Тройная жизнь. И третья жизнь цвела у моего письменного стола. Груда листов все пухла».

Вторая жизнь — в свете грядущих перспектив — оказывается едва ли не важнее третьей. Воспоминания о погибшем Доме, отраженные в «Белой гвардии», перемежаются с попытками описания и осмысления новой реальности. Бывший врач, новоиспеченный москвич, начинающий писатель обживает этот чуждый, чудный советский мир не только практически, восстанавливая нормальный быт, но и с помощью слова.

Прежде чем второй булгаковский город станет в «Мастере и Маргарите» фундаментом *московского мифа*, Москва появится в прозе Булгакова как *столица в блокноте*. В московский цикл (почти все эти очерки первоначально будут публиковаться в газете «Накануне») войдут «Москва краснокаменная» (1922), «Столица в блокноте» (1922–1923), вторая часть «Записок на манжетах» (1923), «Сорок сороков» (1923), «Московские сцены» (1923), «Золотистый город» (1923), «Москва 20-х годов» (1924).

Этот фрагментарный «трактат о жилище» станет первым подходом, первым вариантом исследования новой жизни.

Булгаков приехал в Москву накануне объявления новой экономической политики (он использует аббревиатуру не НЭП, а НЭПО).

В голодном, темном, вымерзающем городе вдруг поднялся занавес и закипела жизнь, в каких-то чертах напоминающая прежнюю: начался ремонт давно закрытых и заброшенных магазинов, в витринах появились позабытые деликатесы, на которые зачарованно глазели прохожие, пошли трамваи, как и раньше, начали зазывать седоков извозчики. О новом времени не давали забыть цены (миллионы москвичи презрительно называют *лимонами*) и написанные по новой орфографии городские вывески, но другие приметы напоминали о старой городской жизни.

Очерк «Сорок сороков» строится как последовательное изображение четырех панорам.

«Голые времена» осени 1921 года, когда Булгаков приехал в Москву, представлены «глыбой мрака», в которой выделяются всего три фонаря.

Весну двадцать второго года знаменует странный неуверенный звук, который собеседники читают по-разному. «Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось,

что он задувает снизу, что тепло подымается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко, до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.

— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

— Это — нэп, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.

— Брось ты это чертово слово! — ответил я. — Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить». (Точка зрения здесь действительно панорамная, взгляд *сверху вниз*: потом она будет повторена в финале «Мастера и Маргариты».)

Душный июль того же года представлен звоном трамваев, развороченной мостовой, круглосуточной починкой Москвы. Тогда же, в «Столице в блокноте», Булгаков впервые назовет имя обосновавшегося в третьем Риме бога. «Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он — нэпман и жулик. А мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой. Он и меня зацепил своей кистью, и до сих пор я храню след божественного прикосновения на своем осеннем пальто, в котором я хожу и зимой».

В панораме четвертой — «Сейчас» — бог Ремонт, кажется, покинул Москву, чтобы уступить место разнообразным приметам городской жизни, причудливо сочетающей старое и новое: извозчики — и трамваи; миллионы киноафиш, зовущих на заграничные фильмы, — и объявление о суде над проституткой Заборовской, заразившей красноармейца сифилисом; Вагнер, исполняемый без дирижера, — и «Земля дыбом» в театре Мейерхольда с военными прожекторами и автомобилями; стрелецкие гимнастерки, на рукава которых нашиты пятиконечные звезды.

Булгаковский цикл московских очерков, опубликованных в «Накануне», полон энергии, динамики и оптимизма. НЭП для многих ортодоксальных коммунистов был потрясением, разочарованием, символом отступления революции от своих завоеваний (вспомним хотя бы соответствующие сцены «Чевенгура» Андрея Платонова или лирику комсомольских поэтов, к примеру, М. Светлова). Автору «Сорока сороков» и «Столицы в блокноте» он, напротив, представляется возвращением прежней жизни, симптомом нормализации, напоминанием о лампе под зеленым абажуром, которая осталась в далеком турбинском прошлом.

Внешне, по особенностям уличной жизни, Москва середины двадцатых годов кажется городом, мало чем отличающимся от не виденных Булгаковым Парижа или Берлина. Автор помнит

о десятилетия, оставшемся у русских людей за спиной, о стынущих улицах Города с повешенными на фонарях, о тех трех ярких огнях в непроглядной тьме, которыми встретила его столица. При такой точке отсчета произошедшее всего за два-три года кажется чудом. Бог Ремонт и госпожа Выгода дают России шанс на выздоровление.

Но при смене панорамного зрения на конкретное, точечное (это происходит, как правило, как раз в нелюбимых «гудковских» корреспонденциях, но встречается и в очерках для «Накануне»), бог Ремонт оказывается на посылках у грозного языческого идола по имени Квартирный Вопрос.

«Условимся раз навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщая всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах — квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

Но этого мало — последние три года в Москве убедили меня <...>, что москвичи утратили и самое понятие слова “квартира” и словом этим наивно называют что попало («Москва 20-х годов»).

В булгаковских «трактатах о жилище» представлены самые причудливые варианты устройства московского быта.

Одни знакомые рассказчика живут на разделенном фанерными переборками насквозь звукопроницаемом темном чердаке (сцена коллективного скандала невидимых обитателей разных комнат, кажется, откликнется в «Двенадцати стульях» И. Ильфа и Е. Петрова в образе общежития имени монаха Бертольда Шварца).

Другой обладатель двух комнат с аршинной дырой, в которую можно наблюдать купол соседней церкви и голубое небо, получает извещение о выселении в никуда из двухкомнатной квартиры («Москва 20-х годов»).

Но это еще что... Общежитие студентов-педагогов называют Ваганьковским кладбищем. Комнаты похожи на ночлежку. В них невозможно топить печку, потому что течет с потолка и дым застилает всю комнату, а уборную приходится посещать по соседству, в Румянцевском музее («Птицы в мансарде», 1923).

А «гениальный» гражданин Полосухин приспособливает для проживания трамвай, находит соседей-последователей, но и оттуда его «выпирают», приспособливая освободившиеся площади для милицейского участка и школы имени Луначарского («Площадь на колесах», 1924).

Зато хитрец-присяжный поверенный приводит квартиру в безобразное состояние, заселяет ее родственниками и домработницами, завешивает стены портретами вождей (здесь и Маркс,

ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль.

Эта мысль настойчивая.

Она — темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа.

Она проста: а что же будет с нами дальше?

Появление ее естественно.

Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли.

Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть.

Не видеть!

Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее.

В самом деле: что же будет с нами?..

Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала.

Я долго, как зачарованный, глядел на чудно исполненные снимки.

И долго, долго думал потом...

Да, картина ясна!

Колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят...

Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще недавно, сея смерть и разрушая, ковали могущество победы.

На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны.

Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!

И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинёт-

ся на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.

А мы?

Мы опоздаем...

Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще?

Ибо мы наказаны.

Нам немислимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю.

Расплата началась.

Герои-добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.

И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жмется сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны.

И ее освободят.

Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.

Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба.

Нужно драться.

И вот пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы.

Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца.

Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться...

А мы... Мы будем драться.

Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это. Мы будем завоевывать собственные столицы.

И мы завоюем их.

Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам

в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорее добраться до Москвы. И мы доберемся.

Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены.

И война кончится.

Тогда страна окровавленная, разрушенная начнет вставать... Медленно, тяжело вставать.

Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются. Ибо им придется «устать» еще больше...

Нужно будет платить за прошлое невероятным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все! И мы выплатим.

И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы. Кто увидит эти светлые дни? Мы?

О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк и десятилетия она так же легко «читает», как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

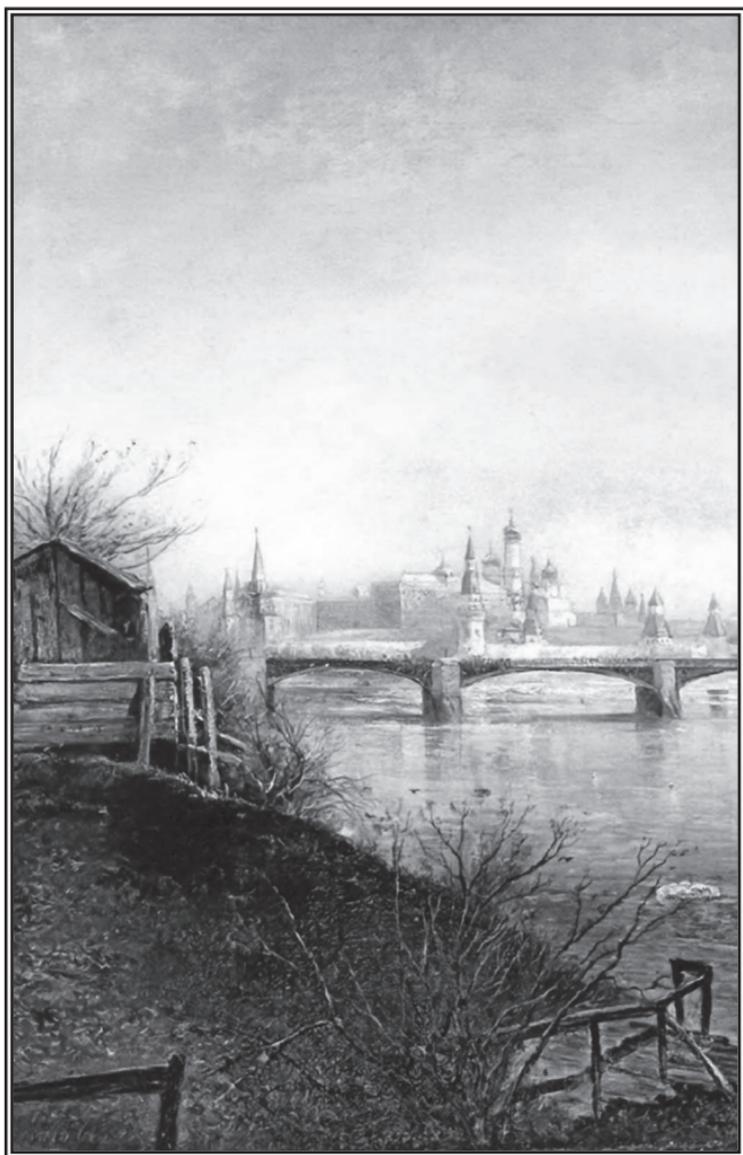
— Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!

МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ

I. УЛИЦА

Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа.

Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.



*Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха
навис над Москвой-рекой от белых стен
до отвратительных бездымных четырех труб,
торчащих из Замоскворечья.*

За Храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй — не хочу.

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки — «Ява» рассыпная! — скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у Храма, ступени у пьедестала пусты. Маячат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходили. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь — довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы — вали в магазин.

У другой — нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше — золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли, во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в ХМУ, не то в ЦУСе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эм-пе-о (в легендарные времена назывался Елисейев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:

— Э-э... два фунта...

Приказчик в белом фартуке:

— Слуш...с-с...

И чирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

— В кассу прошу...

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая с водяными знаками, другая, тоже с водяными знаками, — фальшивая.

В Эмпео-елисейевских зеркальных стеклах — все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснит-

А проводник мне отвечает:
— Глупый ты человек, разве она будет по грязи ходить?
Она в автомобиле ездит.

— Как, — говорю, — маленький автомобиль собачий?
— Да нет, — говорит, — в обыкновенном автомобиле.
Хозяйка ее на руках возит.

Ну, тут я все узнал, поблагодарил проводника. Говорю:
«До свидания». Собачка — никакого на меня внимания.

А проводник говорит: «Она пролетариев не любит».

Пожалуйста, товарищ редактор, напечатайте мой правдивый рассказ про министерскую собаку, чтоб его прочитали все рабочие на нашем транспорте.

Железнодорожник.

Письмо железнодорожника списал,
ничего не изменяя,

Михаил Булгаков

«Гудок», 4 декабря 1924 г.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Чудовищная история

1

У-у-у-у-у-у-гу-гу-гу-гу-уу! О, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке, повар в столовой нормального питания служащих Центрального совета народного хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи боже мой, как больно! До костей проело кипятком. Я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь?

Чем я ему помешал? Чем? Неужели же я обожру Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемне-

ло, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы соус пикан по три рубля семьдесят копеек порция. Это дело на любителя — все равно что калошу лизать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на кругу при луне — «милая Аида», — так что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое — изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал он кпяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с голуду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального

питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, уму собачьему непостижимо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут, лакают!

Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только — сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек зеведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Наденька она фланелевые, попробуй. Он и заорет:

— До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель и сколько ни накраду — все, все на женское тело, на раковые шейки, на «Абрау-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты скулишь, бедняжка? А! Кто тебя обидел?.. Ух...

Ведьма — сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбочнку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

— Боже мой... какая погода... ух... и живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезли из глаз и тут же засохли. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара! «Шарик» она назвала его! Какой он, к черту, Шарик? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь! О, глаза — значительная вещь! Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай! Раз боишься, значит, стоишь... Р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты напишет — меня, Филиппа Филипповича, обкормили!

Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда

господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей и сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес полз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы — величина мирового значения, благодаря мужским половым железам... У-у-у-у... Что ж это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние и подлинно грех? Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная личность! У-у-у-у!

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строжайшим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Содержание

<i>И. Н. Сухих. Преображенский и Шариков в Москве краснокаменной</i>	3
Грядущие перспективы	14
Москва краснокаменная	16
№ 13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна	23
Столица в блокноте	31
Московские сцены	47
Самогонное озеро	54
Золотистый город	59
Говорящая собака	74
Москва 20-х годов	78
Собачья жизнь	89
Собачье сердце	92
<i>Комментарии</i>	188